

**Ночное кафе**

## рассказ

Проснёшься ночью от музыки из кафе напротив. Лежишь, смотришь в окно. Окно большое, старое. Сквозь него комнату заливают слабый желтый свет фонаря. Свет рассекают ветки старого клёна под окном. Они расходятся в разные стороны, прогибаясь под своей тяжестью. Качаются. Тень от клёна шатается, и кажется, что это свет скользит по комнате, выхватывая отдельные предметы: стол, кресло, стеллажи с книгами; потом бросится на пол, на миг заглянет под кровать и взмоет кверху на потолок, станцует там и тут же замрёт как на картине. Ты следишь за ним все это время, гоняешься, а он вдруг встанет перед тобой как вкопанный — словно в ожидании чего-то. Ты соскучишься смотреть на неподвижную картину, а тут музыка из кафе — развлекает тебя: плачет, рыдает, скулит...

А бывает, проснёшься не от музыки, а так — сон приснился, а от него тревожное чувство осталось. Будто сон тот и не твой вовсе, а как бы всех людей на земле, всего живого, даже того, кому и не может сниться. И вот сон-то этот накрыл все — все земное: все во сне, все спит и грезит. *И в грезах мечется на жестких подушках.* Этот сон как внезапно оживший предвестник — пророчит что-то еще неясное, но — ужасающее. Он смотрит на тебя откуда-то из глубины. Ты хочешь понять его, осмыслить. Или хотя бы ухватиться за краешек его пророчества. Но он ускользает от тебя и теряется где-то глубоко в сознании. Ты еще чувствуешь его: кажется, вот-вот ухватишь — перед глазами мелькают лица, предметы, события. Перебираешь их и думаешь: «То? — нет, не то; может это? — нет, тоже не оно». Так вот лежишь, маешься. И как-то невольно представишь вчерашний день. Как целый час просидел у окна. Просто так, ничего не делая.

День солнечный, душный. Все окна и двери открыты настежь. По пустым комнатам тихонько шпионит сквозняк. Я только что помыл пол. (Приятно ходить по полу босиком, когда он чистый.)

Доносится шум с дороги, слышен шелест листьев. Вот гудит машина — грузовик, наверное, несется по Воровского. Мой дом стоит как будто в большом саду, замкнутый тремя улицами: Воровского, Доватора и Блюхера. Я живу на третьем этаже. Надо мной огромный чердак. Это те дореволюционные дома, у которых зачем-то делали такие чердаки.

В детстве утром, поднимаясь на свой этаж, я всегда смотрел, как надо мной белеет известью полуприкрытая дверь в человеческий рост, а сквозь щель бьют первые лучи восходящего солнца. Бывало, выпадет оттуда птенец. Мамаша-голубь слетит к нему, возится вокруг него, а поделаться ничего не может. Я ребёнком смотрю на отца, как он тащит из подвала лестницу и поднимается на чердак, чтобы вернуть птенца на место. И мечтаю, что когда-нибудь тоже буду возвращать птенцов в гнёзда.

Окна моей квартиры выходят на обе стороны дома, и от этого она кажется особенно просторной. И с той и с другой стороны весь двор кипит зеленью. Моя комната на северной стороне, здесь всегда прохладно и сумеречно. В комнате отца всегда солнце.

Странно, столько лет прошло с его смерти, а я до сих пор называю эту комнату отцовской. Нет у меня другой памяти о нем, как только эта комната. Там и стоит все как прежде: справа от окна старый разросшийся под потолок лимон (его посадил отец), слева — полированный стол и два старых резных стула; в дальнем углу кровать и черная тридцати двух килограммовая гиря. Он каждое утро — а вставал он всегда в пять часов — приседал с ней, казалось, несчётное количество раз. Откроет зимой окно настежь. В комнате темно, морозно. А с него пот течёт. Я через дверь слышу его тяжелое дыхание: пшш-пшш-пшш — как будто кто-то накачивает колесо автомобиля. Мне лет шесть — я

свернусь клубочком под одеялом, дрожу от холода и злюсь на него: желаю ему не то смерти, не то болезни какой-нибудь, чтобы не будил меня так рано по утрам. Я почему-то представляю, как отец неподвижно лежит на спине с закрытыми глазами, руки скрещены на груди. И вот ему становится очень больно, он начинает корчиться от боли, голова откидывается назад, руки раскидываются в разные стороны, ноги сгибаются в коленях. Я мысленно усиливаю его боль. От этого он изгибается в пояснице и туловище его приподнимается.

Я удовлетворяюсь судорогами отца, и меня больше не раздражает его тяжелое дыхание: пшш-пшш-пшш. Теперь, закрыв глаза, я представляю его лицо, и беглую жилку на лице при каждом подъеме из приседа — нервный тик после автокатастрофы. Правая половина лица у него парализована. И только эта беглая жилка, как молния, иногда перехватывает неподвижную его часть...

Глупо сейчас вспоминать всё это. Но я помню, как часто в детстве злился на него до иступления. Иногда это было настолько сильно, что глядя ему в лицо, я несколько секунд не мог узнать его. Я пугался этого странного чувства, но оно скоро проходило, а вместе с ним и ненависть к отцу.

Я смотрю через дверной проём в его комнату. Там за окном распустились яблони. Они разрослись настолько, что совсем не видно двора. Когда они цветут, в комнате стоит их душный приторный запах. Иногда я стою там и смотрю в открытое окно. И вижу только кусок неба, всё остальное — зелень. Ветки яблонь так близко — вот-вот лягут на подоконник. И небо над ними как бы говорит мне: «Вот видишь, все мы здесь собрались для тебя. И чего тебе ещё надо-то?». «Ничего, — отвечаю я ему, — Теперь уже ничего».

Сейчас окно наполовину закрывает розовая штора. Она покачивается от легкого ветра и светится на солнце. От ярко освещенной шторы кажется, что в комнате полумрак. С другой стороны окна, на еще невысохший пол сквозь лимон мягко ложится солнечный луч, вычерчивая его тень. Тень чернеет на залитом солнцем полу и озаряется сверкающими каплями воды.

Вот так — отец умер, а лимон остался. Я помню, как он принес домой этот худосочный едва живой отросток и положил его в воду. Отец вечно тащил домой что-то живое. К этому у него была какая-то неудержимая страсть. Один раз дошло до того, что он купил на рынке цыплят и принес их домой в большой картонной коробке. Мне было лет семь, и я был ошеломлен при виде их. Пушистые ярко-жёлтые комочки на растопыренных неуклюжих лапах дрожали, засыпая на ходу. Отец смотрел на них и улыбался на левую щеку; правую — часто била беглая жилка. Он бросил горсть проса в коробку, но птенцы даже не пошевелились.

На следующий день отец огородил половину своей комнаты толстой пленкой и поставил туда два корытца — с водой и кормом. Сколотил большой деревянный ящик — вроде курятника. Прошло время, птенцы оперились и окрасились в молочно-белый; перо было редким — видимо от жизни в квартире.

Однажды я заметил, как один птенец запрыгнул на ящик, присел и вдруг как-то обмяк. Сквозь редкие перья завиднелась его розовато-синяя кожа. Я испугался: в детском представлении я считал, что он умер, и тут же разложился. Я легонько ткнул его пальцем — он был горячий — и побежал на кухню звать отца на помощь. Когда мы вернулись, птенца на ящике уже не было. Казалось, все обошлось. Но через несколько дней птенец все же умер. Сначала он, закрыв глаза, сипло дышал и чуть заметно покачивался вперед-назад. А потом мы нашли его мёртвым между ящиком и стеной. Я подумал тогда, что, наверное, ему было стыдно умирать, и поэтому он решил скрыться ото всех. А может он так хотел похоронить себя?

Другие же птенцы кукарекали как оголтелые, с утра до вечера. Над нами смеялись все соседи. Хотя и понимали все. Жили мы очень бедно. Отец сторожил кафе напротив нашего дома, откуда теперь по ночам доносится приятная музыка, и мыл там пол. На это мы и жили. Я не сразу заметил, что со временем птенцов становилось меньше. Когда я

спросил отца об этом, он сказал, что отдает птенцов другим детям — поиграть с ними. А потом я понял, из чего был тот суп, который мы каждый день ели.

Тогда я возненавидел отца всем сердцем. И затаил на него какую-то особую злобу. Я понял, что не хочу быть таким как он. И решил для себя, что мы чужие. Мы — *разница*...

Хлопнула дверь в подъезде. Но шагов не слышно. Сквозняк, наверное. Кажется, погода портится. Я мысленно возвращаюсь сюда, в темную комнату: из кафе доносится музыка, на стене жёлтый свет фонаря, шатается тень от клёна.

Я закрыл глаза и погрузился в какое-то странное состояние — не чувствую опоры, точно плыву в невесомости. Музыка из кафе затихает, и я оказываюсь в полной темноте и тишине. Слышно только как стучит пульс в голове, бежит по трубам вода, где-то в подъезде отдалённо скрипнет соседская дверь. Донесутся до уха едва заметные звуки вокзала: скрежет колёс о рельсы. Этот звук напоминает плохо настроенную скрипку — какой-то замедленный свист, внезапно обрывающийся громовыми раскатами целого оркестра — это соединяются между собой вагоны.

Я всё пытаюсь вспомнить свой сон, от которого проснулся. Опять вертится что-то в голове. Ночное кафе? Отец? Нет, не помню. Я уже давно не сплю по ночам — всё маюсь, маюсь. Всё смотрю в окно, на свет фонаря, на потолок, на стеллажи с книгами. Я знаю свой сон, чувствую его, но не могу вспомнить — воссоздать образ в памяти. И сладко и мучительно это чувство. Такое чувство всегда приходит ко мне в лесу.

После смерти отца я стал ходить в пригородный лес — сосновый бор на краю города. Я обычно коротким путём добираюсь до него и сразу прохожу в самую его глубь, чтобы скрыться от городского шума и пыли. Но в тот раз мне захотелось пройти вдоль него по шоссе. В лесу прохладно, свежо, спокойно. Тут же невыносимый шум плотного потока машин и мутный, прогорклый воздух. Недавно дорогу расширили и положили новый смольно-черный тугой асфальт. Приятно идти по ровному асфальту.

Я остановился у рекламного щита и сел на его бетонное основание лицом к шоссе. Странное зрелище. Мимо тебя проплывает стальной караван пылающих на солнце автомобилей. А ты сидишь на бетонном кубе под железным стволом и смотришь на этот нескончаемый поток. Рекламный щит — как дерево в пустыне, скрывает тебя от зноя, можно опереться на него и вздремнуть немного. Но это не пустыня, а только край города. И деревья здесь металлические. Мне нравится это дерево. Я рад ему. Я как будто долго ждал его. Я спросил себя: «Ты сюда направлялся?». «Сюда», — ответил я себе.

Мне хотелось сидеть и наблюдать за проезжающими автомобилями, жадно всматриваясь в каждое окно. Вот едет трактор — дымит, грохочет. В кабине сидит — женщина? Я ожидал увидеть усатого толстяка, а там женщина! За трактором ползет двухэтажный автобус. А вот там уже толстяк, хотя и без усов. Прокатиться бы на таком автобусе, на верхнем этаже. И непременно на первом сидении!

В каждом автомобиле, в каждой кабине была какая-то своя отдельная жизнь. Но вместе они для меня образовывали одну большую, которая, несмотря ни на что, никогда не прекратится.

Солнце садилось. Я пошёл домой через лес.

Я шёл знакомой просекой и наткнулся на огромный выгоревший кусок леса. Вокруг всё было черно. От запаха гари до боли першило в горле. Птиц не слышно. Всё как будто затаило дыхание при виде меня. Кажется, слышен только шёпот неба и земли. Ещё тихо шумит дорога — шоссе, у которого я сидел. Станным кажется здесь этот звук. Словно это гудит земная ось, на которой вертится планета. Лучи низкого солнца пробиваются сквозь тонкие обуглившиеся стволы и ложатся на черную выгоревшую траву. Эта тишина и этот странный звук пугают меня. У меня щемит в груди и давит в горле. И не верится, что уже через год от пожара здесь не останется и следа, все зарастет зеленью. И здесь жизнь никогда не прекратится.

Я сижу в лесу, на пепелище. На двух обгоревших соснах, лежащих друг на друге крестом. Повсюду раскиданы камни. Здесь жгли костер: кругом бутылки, мусор — жарили мясо и пили вино. Мне тревожно. Но я привык к этому состоянию. Эту тревогу я испытываю многие годы. Не понимаю, откуда она. Такое чувство, что я совсем один, мне некуда пойти, не на кого опереться. И от этого я как будто не могу сосредоточиться.

От долгого напряжения кружится голова. Тысячи воспоминаний оживают во мне: звучит какая-то музыка (из кафе, наверное), вот чьи-то знакомые глаза, волосы, руки. Образы в голове путаются, громоздятся, мешают друг другу.

Я опять вспоминаю вчерашний день.

Я опять у окна, в своей комнате. Все тот же душный солнечный день, все окна и двери открыты. Я слушаю шелест листьев. Что там внутри этой плотной кипучей зелени? Может там скрывается то, что меня мучает и томит все это время?

От нечего делать я рассматриваю свое окно. Оно совсем старое, — впрочем, как и сам дом, — высокое и состоит из четырёх прямоугольных створок: крайние неподвижны, а те, что посередине — открываются.

Штор у меня нет, они мне ни к чему. Зимой окно затягивает инеем так, что ничего не видно. Особенно в морозы. Иногда стекла оттаивают, и по ним можно определять температуру на улице. А летом окно заслоняет старый разросшийся клён. Его кора давно потрескалась, пошла буграми. А у основания вздыбились, напружинились толстые корни — кажется, что он готовится просто встать и уйти отсюда. И оставить меня одного.

Его густая зелень — как одна большая штора, скрывает меня от остального мира. Клен простирает ко мне свои кривые ветки, как руки, и будто говорит мне: «Коснись меня, потрогай, прижмись ко мне». В такие моменты, стоя у открытого окна, я наслаждаюсь горьким запахом коры и листьев. Пьянящий запах жизни обурекает меня. Мне хочется встать на подоконник и сойти на эти ветки, прижаться к ним. Клён огромный, ветки длинные, толстые. Этот клён — целый мир, в котором можно прожить всю жизнь.

Оконная рама выделяет ограниченное поле подобно раме картины. Картина эта живая, переменчивая. Сквозь ветки старого клёна я вижу в глубине двора молодой высокий тополь. Он выше всех деревьев во дворе. Я часто летом смотрю на него, на его верхушку. Он всегда какой-то особенно живой, раньше других деревьев реагирует на малейшие порывы ветра. Я хорошо знаю его. У него бывает разное настроение, но чаще всего он бодрый и радостный. Когда я смотрю на него, мне хочется смеяться. Он выглядит глупо — торчит посреди двора, будто говорит: «А, вот он я! И я не боюсь вот так торчать здесь».

Чёрт, и как он такой вымахал? Прямо небо скребёт! (Смотрю на него и улыбаюсь.) Молодой ещё, сильный, и как будто игривый: сверкает весь на солнце, трепещет своими огромными листьями-лапищами — синхронно так — точно в танце. И вроде как посмеивается надо мной: «Что, мол, сидишь там, у себя в пещере, да? А я-то тут — в небесах парю». «Ну, пари, пари, раз тебе так хочется», — отвечаю я ему.

Я смотрю на полированный стол, который сделал отец; на кресло — я помню, как он собирал его и обшивал материей. Смотрю на старые стены, стеллажи с книгами — все здесь сделано его руками, из подручных средств и ненужных вещей. Всё здесь кривое и странное, старое и простое. Мне кажется, эта квартира — это вроде как я сам. Стены у квартиры такие же кривые как я. А я такой же, как эти кривые дверные проёмы, как эти крашенные на сто раз косяки, отставшие от стен обои, как эти облупившиеся рамы. Если это все я, а все это сделал отец, то... Не знаю, что *то*... Тяжело мне. Думать тяжело. Душно.

Я всё думаю: почему я так ненавижу его? И против чего так бунтовал всегда?

Матери я совсем не помню. Да и отец не говорил мне о ней никогда. Мы жили вдвоем. И я почему-то был в обиде на него за это. Как будто это он был виноват в том, что у меня не было матери.

Помню, как я в детстве переболел пневмонией. Сколько мне было? Лет девять-десять.

А заболел я назло ему — напился ледяной воды.

Отец меня поил талой водой. Но он всегда подогревал её. А я ненавидел теплую воду. Он ставил кастрюльку в морозильник и через несколько часов доставал её. В кастрюльке посередине оставалось с полстакана незамерзшей воды. Он говорил, что лёд выталкивает всю грязь. И она собирается в незамерзшей воде. Он выливал грязную воду, а лёд ставил таять на паровой бане.

Но я в *тот* раз всё сделал по-другому.

Стояла жара. Мы были в парке отдыха. Отец повел меня на аттракционы. Но оказалось, что денег у него хватает только на один аттракцион. Я выбрал американские горки. Он согласился, но сказал мне хорошо держаться — иначе упаду. Я послушался его и крепко вцепился в поручень, и чтобы не закружилась голова, смотрел в одну точку — себе под ноги, на решетчатую железную подножку. Минуты через две вагончик остановился. Я даже ничего не успел понять. А ведь я столько ждал этого! И вот что получил...

Разгневанный, я молча плелся за отцом и опять представлял себе, как он лежит на спине с закрытыми глазами, руки скрещены на груди. Ему опять становится больно, он корчится от боли, голова откидывается назад, руки раскидываются в разные стороны, ноги сгибаются в коленях. Но мне наскучивает это, и я думаю, как по-настоящему можно отомстить ему. Я сладострастно разрабатываю план мести.

Дома я тайком достал из морозильника кастрюльку с водой (она еще не успела замерзнуть, только подёрнулась льдом), и вдоволь напился ледяной, обжигающей горло, плотной как мед, воды.

Я долго лежал в больнице. По ночам представлял себе маму и мечтал, чтобы она забрала меня оттуда. А отца ненавидел. Но почему? Я помню, как стыдился его, когда он приходил ко мне в больницу. Я смотрел на него, и думал: откуда он такой взялся?

Одевался он всегда во что-то серое, мешковатое. Ночью работал в кафе. А днем изготавливал странные картины: вырезал из цветных обложек для учебников фигурки, на ткани выкладывал композицию из них и через фольгу проглаживал раскаленным утюгом — фигурки таяли, сливаясь в единое целое.

Но больше всего я ненавидел его, когда нам приходилось вместе идти по улице. Я стыдился его. Он постоянно впутывался в нелепые истории: мог разговориться с грязным нищим или кинуться поднимать каких-нибудь пьяных, смеющихся над ним же, женщин, — мне противно было смотреть на него. Он жил какой-то своей маленькой тихой незаметной жизнью. Я понимал, что о нём никогда никто не узнает. Стоит ли коптить небо ради такой жизни? Смешить окружающих своим нелепым существованием?

Помню один случай. Мне тогда уже было пятнадцать.

Мы ехали в электричке, и как всегда без билета. В тамбуре показался контроль. Мы встали и пошли на выход. На остановке вышли и побежали в вагон, который контролеры должны были уже пройти. Но один из них остался и ждал нас на входе — он знал этот трюк. Это был энергичный сухой старик с бледным лицом и тяжёлым взглядом. Он не пускал нас. Отец кричал ему, что работает, но ему не платят зарплату. Тот отвечал, что ему плевать, что он тоже работает... Каким-то чудом мы поднялись в тамбур. Отец зашёл в вагон, а я остался разговаривать со стариком. Я просил его простить нас, и он оставил нас в покое.

Тогда я понял, что умею договариваться с людьми, в отличие от отца. И окончательно решил для себя, что мы чужие. Мы — *разница!*

Так, ничем не похожий на отца, я всё делал по-другому.

Я считал, что нищими должно заниматься государство, а пьяными женщинами — медвытрезвитель; что в первую очередь надо развиваться самому, каждый день становиться лучше, сильнее. «Дисциплина должна быть полная!» — говорил я себе, составляя план на день: вставать до восхода солнца, принимать контрастный душ, завтракать свежими фруктами, орехами и читать что-нибудь из Ницше. Я придумал себе «катехизис революционера» из трех пунктов: требовательное отношение к себе, требовательное отношение к товарищу и требовательное отношение к обществу. Я устал вариться в этой серости, безликости — рабской идеологии, из которой невозможно прорасти и стать чем-то большим, выдающимся. Но я думал не только о себе. Я мечтал о светлом будущем всего человечества.

Тогда-то я и начал собирать свою библиотеку. Я любил читать Вольтера, Фрейда, Сартра, выписывая фразы из книг: «Человек осужден быть свободным!», «Нужна реформация. Нужен новый человек!». «Раскрепощение личности. Утверждение высокого достоинства человека, как свободного творца земного счастья!» — пьянея от лозунгов, бормотал я себе под нос. Я хотел доказать отцу, что человек — не тварь, и не раб, а полноценная самодостаточная личность: «Не-ет! В начале было дело!»

Воспоминания о вчерашнем дне, детстве и юности прервал сильный ветер за окном.

Я опять в темной комнате. Смотрю в окно. Ветки клёна бросаются на стекло, стучат, будто хотят предупредить о чём-то.

Тут-то я и вспомнил свой сон.

Мне казалось, я проснулся от музыки из кафе. Но проснувшись, я её не услышал; за окном дул сильный ветер, ветки клёна били в окно.

И вдруг запрыгали, заплясали оконные рамы, точно взбесились — закрипели и завизжали, словно призывая кого-то в помощь. Движение передалось стеллажам с книгами. Они закачались в разные стороны, застучали по стене, встряхивая книги, как будто крича им: «Проснитесь! Пора идти в бой!» Загалдели книги, — каждая то, что в ней написано, — перекрикивая друг друга. По отдельным словам я понимал, что громче других кричат две верхние полки: с эпохой Возрождения и Двадцатого века. «Уничтожьте подлю! Раздавите гадину!» — слышен был чей-то голос. Затем что-то выкрикнул Ницше. Потом Дарвин. Кто-то несколько раз пробубнил: «Идут мужики, несут топоры. Что-то страшное будет. Идут мужики, несут топоры. Что-то страшное будет». Между тем я почувствовал, что мне как будто целуют руки. Я достал их из-под одеяла. По ним ползал как мышь маленький голый осклизлый человечек. Он поднял голову и произнёс: «Шир, бул, дыл. Фьюить...» — и развёл руками.

Затем стеллажи объединили свои силы и двинулись разом в одном направлении — уже в каком-то ансамбле; казалось, они пели песни интернационала. Этого не выдержала стена и двинулась вместе с ними в мою сторону. Она продвигалась всё дальше и дальше, ещё и ещё. Во всём этом был какой-то общий порядок.

На улице тоже всё стало рушиться: деревья падали, ветер рвал крыши домов.

Внезапно я почувствовал, что все это происходит из-за меня. Вечно пьяный сосед кричал мне за стенкой, — зачем я это делаю? Мне казалось, что он ещё сильнее ощущает это — эту катастрофу — и поэтому кричит мне.

Но причем здесь я?!

Вдруг кто-то свалился с верхних стеллажей. Он встал и поднял с пола высокую заломившуюся на сторону изношенную шляпу. Он был в пальто, высокий, худощавый, с тонкими чертами лица. Казалось, он был в каком-то раздражительном и напряженном состоянии. Он надел шляпу и, указав на меня пальцем, крикнул: «Сжег, да? Теперь и сам попаришься!» Я не мог понять смысл его слов. На кухне что-то вспыхнуло. В дверной проём мне было видно, как там полыхает огонь. И я понял, что это не кухня, а огромная

печь. Он схватился за край кровати и сдвинул её в дверной проем. Я уперся руками в косяк, чтобы удержать кровать на месте. Мне казалось, что у меня получается. Но кровать всё равно продолжала смещаться.

И вот я в огне. Я задыхаюсь и глохну. Темнота охватила меня, а пространство исчезло. Я чувствую, что лежу в гробу — ничего не вижу и не слышу, мне нечем дышать. Кажется, я ни думать больше не могу, ни чувствовать. Знаю только одно: я умер и лежу в гробу. Сколько уже лежу, не знаю. Но возможно уже очень долго, может быть, целую вечность. И что странно, каким-то образом вижу свой гроб со стороны. Гроб в двух шагах от меня. Я вижу, сквозь доски крышки торчит что-то вроде корня дерева. И такое чувство, что он все это время ждал чего-то. И теперь корень этот вдруг ожил и начал расти. Он вытягивается, становится длиннее и толще. Доски гроба не выдерживают нагрузки, трещат и ломаются. А за корнем появляется моя рука, и я сам.

А что было дальше? Не помню.

Кажется, я вскакивал с кровати во сне и ходил по комнате. Ну и дурень! Надо же, а как реально полыхала кухня. Так я сгорел что ли во сне? Вот так новость. И что это за мужик был? Что он там кричал? Не помню. Сжег... теперь и сам соришь... Что он имел в виду? Отца что ли? То, что я не похоронил отца, а сдал его в крематорий? Не может быть. Просто не может такого быть, чтобы я сам всё это себе сочинил во сне.

Я помню смерть отца. В тот день я с самого утра плохо себя чувствовал.

Помню, как он лежал в гробу в крематории, неподвижно, как все мертвецы. В один момент мне показалось, что у него дернулась эта его беглая жилка на лице. Я присмотрелся внимательнее, больше она не дергалась. У него было удивительное выражение лица: строгое какое-то и кроткое — да, строгое и кроткое.

В крематории мне выдали урну, в ней был полиэтиленовый пакет с прахом отца. Дома я поставил её на стеллаж с книгами. Сел в кресло напротив урны — меня одолевала слабость. Я стал представлять, что происходило с отцом, когда он горел. Наверное, он покрылся пузырями. Надо будет в интернете посмотреть как-нибудь. Хотя нет, это не то. Сейчас же пойду в библиотеку и посмотрю, что пишут об этом в книгах. Голова только очень кружится, не упасть бы по дороге.

Подходя к библиотеке — трехэтажному зданию с колоннами, я заметил странного вида парня. Он щурился и улыбался, как будто гримасничая. Сутулился и запрокидывал голову вверх. Бил в бубен, дудел в дудку и что-то кричал про перемены.

«А ведь я тоже *тогда* жаждал перемен», — мелькнуло у меня в голове.

В библиотеке я нашел статью о крематориях России.

«Акт опытного сжигания состоялся в ночь с 13 на 14 декабря 1920 года в присутствии административных лиц. Произведено первое опытное сожжение трупа красноармейца Камнева, 19 лет, в кремационной печи в здании 1-го Государственного Крематория.

Гроб вспыхнул в момент задвигания его в камеру сожжения и развалился через 4 минуты. Ткани конечностей трупа обгорели, обнажился костяк головы. Разошлись швы черепа. Замечается исчезновение рёберных хрящей и обнажение внутренностей грудной и брюшной полости с признаками их обугливания. Сгорел мозг. Видна, не потерявшая форму, правая лопатка. Идет догорание внутренностей. Процесс сожжения окончился. Открыт зольник, вынута тележка с прахом сожженного».

От прочитанного меня бросило в пот и зарябило в глазах. Чтобы привести себя в чувства, я растер руками виски, уши и щёки. И продолжил читать.

«При сжигании трупа без гроба наблюдается следующая картина. В момент ввода трупа в камеру сжигания вспыхивает одежда и волосы. Лопаются глаза. Труп начинает шевелиться, вследствие сокращения мускулов от высокой температуры. Голова откидывается назад, руки, скрещенные на груди, раскидываются в разные стороны, образуя прямую линию, ноги сгибаются в коленях. Тело изгибается в пояснице, вследствие чего туловище приподнимается. Наблюдается кипение крови через глазные,

ушные и носовые отверстия и через рот. Швы черепной коробки расходятся. Голова отделяется от туловища. Череп разваливается и обнаруживается мозг, горящий зеленоватым пламенем. Костяк и внутренности постепенно догорают, кроме мозга, лёгких, желудка, почек и печени, которые сгорают последними и в последовательном, как перечислено, порядке».

Дочитав статью до конца, я потерял сознание.

Очнулся только в машине скорой помощи. Меня привезли в больницу и направили на обследование. Поставили диагноз «острая сердечная недостаточность», сказали, что нужна госпитализация и послали домой за вещами.

Я вышел из кабинета врача и спустился в фойе больницы. У гардероба краем глаза заметил сутулую фигуру — это оказался тот парень, который кричал что-то про перемены сегодня с утра у библиотеки. Он щурился, улыбался и, запрокинув голову, водил ею из стороны в сторону. Его взгляд будто скользил по плоскости окружающего мира, ни на чем не задерживаясь. Он ходил взад-вперед, осторожно ступая, точно не по бетону, а по тонкому льду.

Я поспешил одеться и когда уже подходил к выходу, услышал, что кто-то окликнул меня по имени. Я очень удивился: кто бы это мог быть? Но звали не меня, а этого странного парня. Это была стройная женщина с поразительно ясными глубокими глазами. Выходя из поликлиники, я внезапно ощутил сильный страх. Я остановился у клумбы, будто бы надеть перчатки, а сам ждал их. Они не спеша вышли и тихо двинулись в сторону дороги. Женщина оживленно что-то говорила парню, указывая одной рукой в небо. А он, опустив голову, робко жался к ней плечом и судорожно искал другую её руку, стараясь покрепче вцепиться в неё. Так они и удалились от меня, а я так и остался там — у клумбы. Я вспоминал отца.

Мы часто ходили с ним на озеро — городское водохранилище. Но не на пляж. Рядом с пляжем расположена плотина, а за ней вдоль берега тянется дамба — бетонированная крутая горка кверху от воды. Вверху бетонный бортик с метр высотой, за ним — шоссе. Я всегда звал отца на пляж. А он ходил только сюда, на дамбу. Из-за этого мы ссорились. На дамбу ходили одни рыбаки. Мы тоже брали удочки, но у нас никогда не клевало. А в тот день произошло что-то странное.

Закинув удочки, мы с отцом как всегда стали играть в карты. Вскоре по соседству с нами расположилась девушка с большими серыми глазами. Мы очень удивились. Она достала книгу Достоевского «Бесы» и мороженые ананасы. Спустя какое-то время мы забыли о ней. Но неожиданно эта девушка крикнула: «У вас клюет!» Я бросился тащить удочку. Что-то сильное схватило мою леску там, на глубине, и потянуло на дно. Я нервно тащил удочку на себя. Я настолько растерялся, даже забыл, что там, под водой, должна быть рыба: мне казалось, я борюсь с каким-то подводным чудовищем. Отец зашёл в воду, чтобы помочь мне. И когда я увидел рыбину в воде, зачем-то изо всех сил дернул леску так, что она лопнула. Рыба осталась в воде. Отец пытался поймать её руками. Я бросил удочку и стал помогать ему. Стоя по пояс в воде, мы хватили её несколько раз, но она выпрыгивала из рук. Девушка сначала смеялась над нами, а потом тоже зашла в воду помогать нам.

Отец поймал рыбу. Это был щурёнок, но мне он показался огромным. Счастьем моему не было предела — я поймал целую щуку! А потом эта девушка угостила меня ананасами.

Вспоминая всё это, я ещё долго стоял у клумбы. Мне некуда было идти.

Ветер за окном стих. Стал накрапывать дождь.

Так вот, что он — этот... в шляпе — имел в виду, когда сказал: «Сжѐг, теперь и сам сгоришь!»



И что же, меня *это* мучило все время? Но что это? Угрызение совести? Нет. Тут что-то другое: неприкаянность какая-то. Зачем я его сжѣг? Теперь даже пойти некуда, попросить прощения. Дурак!

Мне стало душно.

Я встал, подошел к окну и открыл его.

Поток свежего воздуха, запах дождя и ночи окутали меня. Ночное небо мне показалось ближе, чем обычно. Редкие звѣзды и бледный свет луны — всё молчало и смотрело на меня — словно затаило дыхание в ожидании чего-то. Я протянул руку и коснулся ветки клена — листья теплые и мягкие. Сквозь ветки я вижу ночное кафе — пустая танцевальная площадка, освещенная фонарями, играет музыка. Странно, никого нет. Для кого всё это?

И вдруг я вижу, что кто-то стоит на площадке — смутно ещё, как будто в тумане. Но скоро по силуэту понимаю, что это отец. Странно, он в метрах ста от меня, а, кажется, протяни руку и коснёшься его. И я уже различаю его черты лица. Он смотрит на меня и улыбается на левую сторону. А справа щеку бьѣт беглая жилка. Я цепенею от этого видения и не знаю, что делать. Свет фонарей заливает всю площадку. Я вижу, как отец медленно проводит рукой по правой щеке. Он стоит озарѣнный светом и улыбается. И теперь уже во всё лицо.